

Алеша Сокол

---

# Какое дело

0+

# Алеша Сокол

## Какое дело

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=51693162](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=51693162)*

*SelfPub; 2020*

### **Аннотация**

Рассказ о простом деревенском писателе, его жизни, его судьбе и его подвиге.

– Ну да ... Жалко, конечно.

Было очень спокойно. Над лесом на другом берегу слышались отдаленные голоса птиц. Они не пели. Они тихо проводжали воздух, уходящий туда, где должен был наступить новый день.

Пятых выглядел неумело и немного потерянно. Он спросил, будто этим вопросом хотел извиниться за свою толсто-лобость:

– Ну... а тебе то... Какое дело?

Ванчик посмотрел на него, удивившись, но как-то просто, вроде как сам потерявшись от такого неожиданного вопроса, его самого поставившего в тупик. Потом снова отвернулся к озеру и без укора ответил:

– Да нет, никакого.

На несколько минут снова восстановилась предвечерняя тишина. От долгого дождливого дня уходили его последние тучи. Фиолетовый отблеск оттенял то место, куда должно было уйти светило, которое за этот день так и не соизволило появиться.

– Ну, давай тогда. Пошёл я. Не заворачивайся здесь.

Пятых встал и его тяжелые от долгого сидения шаги понемногу начали отдаляться по скрипящим доскам причала.

Ванчик сидел, смотря на неподвижную гладь вечернего озера. Легкий ветер колыхал пушистые головки камыша. От зеленоватой прозрачной воды исходил приятный запах весенней свежести. Плавуны легко скользили по зеркалу воды.

Кваканье, переключка птиц и редкие всплески рыб наполняли тишину объемом.

– Какое дело, – снова произнёс Ванчик.

Тяжелый камень звучно бултыхнулся в воду. Звон от падения прошелся по сухому переплету обожженной травы.

– Какое...

\*\*\*

Есть такие замечательные произведения, читаешь их и точно знаешь – русские. Не перевод, не калька. А точно с самой идеи – русские. Их мог написать грузин или абхаз, узбек или казах, сибиряк или южанин, но в каждой строке, в каждом пробеле ты знаешь – русский. Не потому что на этих белых или желтоватых страницах начерчены русскими буквами, взятыми из русской кириллицы, русские слова. Нет. Совсем не поэтому. Просто знаешь. По той широко развешивающейся песне. По тем непослушным копнам степной травы. По складному говору. По терпкому вкусу. По дурящему запаху. По острому слову. По той особенной непринужденно простоватой манере говорить о сокровенном, волнующем, жгучем. Говорить о самом больном простыми, не требующими сожалений и слез, словами. По каждому дыханию этих букв, этих слов, этих мыслей. Своих. Наших.

Он умел писать такие слова. И его читали. Читали все без разбора, вне зависимости от возраста и предпочтений, читали, потому что нравилось, потому что любили. А может, потому что нечего было больше читать. В деревне то что, много

книг найдёшь? Одну, две, и те все старые, с прошлого века, с прошлой жизни, со школьной скамьи. И на этой скамье уже по инстинкту не очень желанные.

Но его читали. Читали и при каждой встрече в лицо с покошенной улыбкой, машинально стягивая шапку, неумело и смешно говорили: «Ну! Написааал...» И это «написааал» было ему дороже всего, дороже миллиона статей и отзывов критиков, премий, гонораров и памятников. Ради этого «написааал» он это и писал. Дышал так, со своей деревней, а может, сразу со всей страной.

То ли здоровье, то ли происхождение не позволяли ему вместе с этими простыми мужиками и широкими женщинами пахать, сеять, рубить. Он не мог этого делать, хотя много раз, смотря на их неумный труд, на потные спины и загорелые руки, ему хотелось вместе с ними взяться за лопату или косу и под стройный ряд звуков труда и стрекота насекомых поить, кормить, облагораживать черную рыхлую землю. Но он не мог. А оттого надеялся, что хотя бы своими рассказами он сможет помочь этим безымянным и беспмятным героям сделать их жизнь чуть живее.

Он не был гордым. И осознание того, что он такой не один и вовсе не уникальный ничуть его не оскорбляло. Напротив. Услышав от кого-нибудь о молодом начинающем писателе или о простом мальчишке или девчонке, написавшем хороший рассказ или стихотворение, он не принимал того напыщенно-эгоистичного вида, которым грешит обычно творче-

ское большинство. Узнав о чужих успехах, он сразу расцвёл той свойственной только ему внутренней улыбкой, и, будто положа успех этого малого в свою собственную копилку, довольно говорил: «Хорошо! Очень хорошо!»

Всю свою жизнь он рос среди людей, где и добро и горе всегда было общим. Однажды половодье и сильные дожди затопили нижние дома селения, что стояли ближе к балке. Пострадали пять семей, все многодетные. Вода стояла в домах около недели. За все это время ни один ребенок и ни один селянин не были не накормлены и не приняты в натопленных домах с теми теплом и заботой, просыпающихся в русском человеке при виде беды своего земляка. Когда вода ушла, вся деревня вышла восстанавливать покосившиеся от долгого застоя избы. С работой управились за четыре дня. Духом этой земляной солидарности было пропитано все сердце Писателя.

Кстати так его и звали – Писатель. С самого детства. Даже, кажется, родители не обращали внимания, а может быть, и совсем забыли о его крещеном имени. Писатель был таким, сколько себя помнил, и сколько помнили его односельчане. Мальчишкой он собирал всех окружных ребят своими рассказами о болотных водяных и лесных духах. Потом о героических битвах старой Руси. Потом о гражданской войне. В школе он приклеивал свои сочинения на стенгазеты. И не было ни одного человека, от самых маленьких первоклашек до директора, кто бы пройдя по коридору, не задержался на

пару минут, чтобы прочитать новую заметку, историю или начало целой повести о будущем советской техники, о приключениях, подвигах и неудачах юных пионеров, обо всем, что могло прийти в голову деревенскому юному писаке. И нередко были случаи, когда товарищи или учителя Писателя подходили к нему и застенчивыми, светящимися глазами просили: «А дай до конца прочитать». Он давал всегда. Даже если для этого ему приходилось сидеть целую ночь, переписывая новые и новые экземпляры.

\*\*\*

На войну ушли все разом. Собрали какие могли вещи, сумки, кто с сухарями, кто с теплыми носками и ушанками, кто со старыми деревянными иконами, подsunутыми трясущимися руками матерей и мокрыми губами жен. Собрали все. И ушли.

Деревня с тех пор стала бабьей. Не слабой, не плачущей, просто бабьей. Как и все деревни Союза. Далеко затемно, после долгого изнурительного труда, который женские руки взяли из занятых винтовками, автоматами и снайперскими лопатками мужских, женщины собирались вместе и, еще сильнее чем раньше чувствуя необходимость практически кровного родства (а может, и буквально кровного, никто ведь не мог сказать наверняка, живы ли их мужья и дети), пели грустные заунывные песни своей молодости, делились воспоминаниями о страшных снах, так часто приходивших теперь по ночам, и нередко вспоминали: «Был бы Писатель,

он бы нам рассказал какую-нибудь из своих историй!»

А Писатель был. Но теперь рассказы о будущем советской техники и приключениях пионеров казались ему чем-то невыносимо далеким, до чего можно было докричаться, только проложив сотни метров телефонного провода, точно такого, как тянул он сейчас, с головой увязая в грязи, пробирающейся до самых костей нестерпимым, судорожным холодом. Писатель оказался не трусом. Несмотря на свое хлипкое телосложение, тонкие ноги и руки, которые, казалось, способны были выдержать лишь вес карандаша и резинки, он ловко и с какой-то врожденной цепкостью кошки мог перебегать с одной позиции на другую, заряжая, помогая, перетаскивая боеприпасы, технику, тела туда и тогда, где это было необходимо. Писатель не был хорошим стрелком, он плохо кидал гранаты и необходимость заменить кого-то на пулеметной позиции стопорила его реакцию до нуля. Однако он был способен сохранять холодный разум и спокойствие при виде того, что у многих других могло вызвать припадок буйной истерики или нервный паралич.

Однажды один из только что прибывших, жуя неизвестно откуда добытую сигарету, сидел рядом с Писателем, каждые две минуты задавая ему новый скоп вопросов. Его и нескольких его товарищей сразу после снайперских курсов направили сюда, а через пару дней они с напарником должны были уйти вглубь фронтовой линии, на свою точку. Ему было около семнадцати, но на вид можно было дать ему не больше



четырнадцать лет. Среди своих он привык много болтать, и за попеременное «че» скользившее у него в речи как главный союз всех членов предложения, его прозвали Чёкой.

– Писатель, скажи, когда мы немца победим, в этом месяце или следующем?

– И не в этом, и не в следующем.

– А че?

– Не готовы еще. Рано.

За все время проведенное на фронте Писатель почему-то даже не спрашивал себя, когда закончится война. Многие, в минуты затишья, писали письма, то ли родным, то ли себе, зная, что на фронтовую почту надеяться нечего, и у каждого в глазах можно было прочесть это пустое «Когда?». Писатель никому не писал. Он с тех пор больше вообще не писал и не понимал, как можно писать. Писать можно о хорошем, о правильном, о совершенствовании и труде, о любви, о жизни. Но все это – это потом, это там, в другой жизни, не здесь и не сейчас, и совсем с сейчас несовместимо. Да и ведь селяне, например, рядовые, что из деревень приехали, они ведь сейчас не выходят в поле, траву не косят? Или гончары? Кувшины не лепят? Ну вот. Вот вернемся – тогда и займемся все своими делами. А когда это придет, неизвестно. Придет, наверняка, также внезапно, как и немец пришел. Просто однажды проснешься, а тебе командир: «Все! Ушли фрицы! Собирай манатки! Домой идем».

– А я думаю, что скоро победим. Че, не вечно же воевать?

– Поглядим.

– Писатель, а почему тебя так прозвали? Я вот че ни разу не видел, чтоб ты писал.

– Писал раньше, до войны.

– А сейчас че?

– Сейчас нет. Вернусь домой – снова буду.

Чека не стал его спрашивать почему. Вообще он был хороший парень, добродушный. Даже можно сказать, не без поэзии в душе. Но никто не потрудился, чтобы помочь ему эту способность раскрыть, и она закрылась так же незаметно и безболезненно, как умирает зародыш цветка внутри растения, о котором никто даже не подозревал, что оно может цвести.

– Скажи, Писатель, а ты вот для всех пишешь?

– То есть? Ну да, для всех.

– И для злых?

– Для злых?

– Ну да, для злодеев там всяких, обманщиков. Для дезертиров. Знаешь, много таких, че вот кажется русский человек, как все, глаза вроде два, руки две, ноги две. Да сердца видимо не досталось. Ни одного! И бегут как крысы... Или просто трусят, «че, говорят, какое дело, не мы войну начинали, не нам и заканчивать». Вот какие есть! Я бы для них не писал. Ничего бы не писал! И читать запретил бы!

Писатель улыбнулся и мягко, будто глядя по голове Чеку, сказал:

– И для них тоже пишу. Для всех, для всего народа. Нет никакой разницы. Да и плохих людей нет. Есть тем, кому не повезло. Бывает. Вот их плохие черты и развиваются быстрее хороших. А чтобы хорошим помочь вырасти, нужно хорошие книжки писать, людей и детей учить. Вот как Толстой, например.

– А ты бы Толстым хотел быть?

– Я он и есть.

– Че? Как?

– Вот так. Я и есть Толстой, и Достоевский, и Пушкин тоже я. И ты. Я думаю, что когда человек что-то пишет, и то, что он пишет, принимается народом, он перестает быть только собой, а становится всеми. А все получают его в себя, его мысли, его образ, его жизнь. Потому и стоит радоваться, что у нас так много хороших писателей, пусть и не всех известных. Потому что даже если какой-то мальчишка напишет что-то хорошее, оно сразу в народ идет, каждому в душу, и в ней растворяется. Вот так, встал ты утром, и чувствуешь – чего-то у тебя в душе больше стало, объемнее. Это хорошо. Культура народа, она богатой должна быть, чтобы всем хватило. А если два-три хороших писателя будет, пусть и таких как Достоевский с Толстым, это на что же похоже? Нет, нашему народу такого мало, с нашим так нельзя.

Чека был под впечатлением. Он мало что понял, но тот разговор вспоминал еще долго, и с каждым разом все больше и больше убеждался, что было в Писателе что-то особенное,

соборное.

– Говоришь че, для всех бы писал?.. И для немцев тоже?

Писатель молчал.

– Нет, для них не писал бы. Для них пусть сами пишут.

\*\*\*

«Если пронюхали про позицию, все, пиши пропало».

Писатель ловко пробирался по мокрому, туманному лесу, бесшумно, плавными мягкими движениями скользя через поваленные деревья и заваленные ветками овраги. До ближайшего поселения несколько километров. Их ребята должны были обойти его с восточной стороны. От всего отряда там могло остаться всего несколько человек, а мог и вообще один. Но даже этот один должен был довести дело до конца – добраться до позиции, где остановился полк Батюшкина, в котором служил Писатель, и с точностью нарисовать схему расположения соседних деревень и позиции вражеских отрядов между ними, которые за последнюю неделю оккупировали практически весь район диаметром двадцать, а то и тридцать километров. Без этой информации идти на авось с полком, где оружия и патронов едва ли хватило бы на два-три дня активных боев, было невозможно. Но время шло, а отряд (который мог состоять из одного человека) не появлялся. Писатель должен был выйти на их предположительный путь и найти их мертвыми или живыми.

Побитые временем, погодой и долгим отсутствием мужских рук дома уже виднелись сквозь ленивую изморось. Пи-

сатель собрался было уже взять еще дальше к востоку, и оставить деревню в стороне, как вдруг дикий, раздирающий женский крик прорвал полотно воздуха. По какому-то наитию, сам собой, Писатель бросился в сторону села. Он остановился, спрятавшись за водонапорной башней, откуда была видна центральная улица, к которой сходились ряды потемневших изб. Немцы заняли деревню. Из своего укрытия Писатель увидел, как один из них, командир, за волосы протащил по улице красивую молодую девушку, и с силой швырнул ее в круг таких же несчастных, напуганных женщин всех возрастов, девочек, женщин, старух, жмущихся друг к другу под ухмылки и смешки немецких солдат. В этот искусственный живой загон были заперты не все. Были те, кто стоял поодаль, практически рядом с немцами, женщины и несколько стариков, с ужасом смотрящие на своих односельчан, но все же не двигаясь с места, и только пытаясь им что-то сказать своими страшно открытыми рыдающими ртами.

Ломаным языком фрицевский командир залаял на собранных в кучу женщин:

– За непризнание командования немецкой армии, за нежелание повиноваться войскам Германии....

Он зло и вопросительно посмотрел на лица напуганных, но таких же злых девушек и женщин, будто ожидая от них какого-то ответа. Но ответа не последовало.

– Feuer!

Дикий рев автоматов и вспышки огня будто парализовали

разум Писателя, но спустя пять секунд он, не отдавая себя отчета, не видя ни земли, ни неба, и не помня себя от ярости, выскочил из своего убежища и со звериным воем кинулся к убийцам. Пораженные этим невиданным зрелищем, никто из немцев даже не открыл огонь по такому, казалось, нелепому недоразумению, появившемуся из ниоткуда и мчащимся к ним с красным от гнева лицом. Писатель был без оружия. Будучи уверен, что оно ему не пригодится и будет лучше оставить лишнюю винтовку товарищам на случай внезапной атаки, Писатель оставил себе только финский нож, подаренный ему как-то одним его боевым товарищем. Выхватив сейчас этот нож, Писатель в ярости пытался заколоть этих безжалостных и бесчестных убийц, которые, потешаясь над, видимо, обезумевшим русским солдатом, смеялись и улюлюкали, чем приводили его в еще большее бешенство. Ноги Писателя путались, осознание собственного бессилия и неспособности помочь несчастным убитым иступило его и он, практически потеряв всякую связь с происходящим, продолжал реветь и бросаться на расплывчатые фигуры в темно-зеленой форме. Один солдат приблизился к Писателю сзади. Темнота и холод застелили глаза, и отяжелевшим телом Писатель повалился на землю.

\*\*\*

– Мы нуждаемся в человеке, которого бы понимал ваш народ. Вы должны написать обращение для всех ближайших деревень. О том, что они не должны сопротивляться власти

немецких войск. И о том, что в случае полного повиновения, их не тронут.

Расплывающимися глазами Писатель видел перед собой высокого светловолосого мужчину, выбритого и вычищенного как новый котелок, ходящего по комнате увесистыми чеканными шагами, забрав руки за спину с видом непререкаемого и необсуждаемого превосходства и уверенности в исполнении этого задания. Он говорил вполне сносно, но все же с тем ужасным, въевшимся в душу каждого русского человека акцентом, который еще долгие поколения будет вызывать у потомков инстинктивное презрение к его носителю и механическое подергивание сжатого кулака.

– Вам будут выданы бумага и карандаш. Сделайте несколько вариантов. Из них будет выбран лучший. Я думаю, вы сами уже не имеете сомнений во власти немецкой армии. Я бы на вашем месте постарался убедить своих людей в том же. Это может спасти много ваших жизней.

Темно-зеленый мерзко улыбнулся. Кровь Писателя больно ударила в рану от немецкого приклада.

Его подняли со стула и отвели в отдельную маленькую комнату, отвязали его правую руку, левую закрепив к поручню тяжелой кровати так, чтобы он смог писать, но не смог сделать ничего больше.

«Думал, вернусь с войны, продолжу писать, а вон...»

Какое-то время Писатель сидел погруженный в пустоту, в свои вяло ворочающиеся мысли, в густоту влажного возду-

ха, наполнявшего комнату. Он вспомнил все, о чем писал с такой любовью, с такой тоской и таким интересом. Обо всем, что было ему дорого и ценно в жизни, прошедшей и будущей, вспомнил с какой легкостью к нему приходили истории, поучительные и забавные, и с каким наслаждением люди читали их снова и снова. Писатель взял в руки карандаш и понял, что сделал это впервые с того самого момента, когда он вместе со всей деревней ушел на фронт. Он придвинул к себе бумагу. Все это было давно забыто. В прошлой жизни. В позапрошлой. Теперь ничего не было. Время шло. Во всей комнате, во всем мире образовалась пустота. Было только одно – мягкий скрежет карандаша по шершавой поверхности желтоватых листов.

\*\*\*

Темно-зеленый офицер пробежал глазами страницу за страницей, и лицо его становилось все мрачнее и мрачнее. Этот русский туп или у него совсем помешался рассудок? Пролистав все до конца он наконец в бешенстве выбросил исписанную бумагу и бросился вон из комнаты. По полу разлетелись черно-белые листы. Их никто не поднял, и никто в них больше не посмотрел. Только один раз молоденький, очень слабый на вид паренек по имени Ханц, которому было приказано навести порядок в комнате командира, собирая по полу помятые бумажки, на несколько мгновений застыл над этими непонятными чужими строками. Они были написаны русскими словами, начертанными русскими буквами,



взятыми из русской кириллицы. На них то тут, то там появлялись истории о болотных водяных и лесных духах, героических битвах старой Руси, о гражданской войне. Рассказы о будущем советской техники, о приключениях, подвигах и неудачах юных пионеров. Об их любви, об их горе и об их ненависти. Ханц, конечно, ничего этого не понял. Он выбросил листы в печь, которую старая, почти ослепшая от слез хозяйка топила, чтобы приготовить обед своим новым темно-зеленым постояльцам.

\*\*\*

– Ребята наши... Там памятник стоял. Помнишь?

Пятых тяжело задумался, протянул руку к затылку, как будто хотел почесать свои извилины, чтоб хоть как-то растормошить их и наконец не найдя ничего лучшего, протянул:

– Памятник?

– Тут недалеко от нашей деревни один солдат был расстрелян, один, отдельно от всех. Он писателем был. Помоему его так и звали. Писатель. Не знаю уж, почему его так уважали. Но ему поставили памятник потом, после войны. Помнишь?

– Ааа... – Пятых действительно стал вспоминать, что был такой памятник и он даже пару раз туда ходил с девчонками по молодости, еще до свадьбы. А после свадьбы что уж ходить. – Припоминаю.

– Ну вот. Так я сегодня видел. Ребята его наши... повалили. Сломали совсем. За что вот, не пойму. Мешал он им что

ли... да я слышал многие сейчас ломают.

Пятых снова попытался почесать свои извилины и снова протянул:

– Ну да ... Жалко, конечно.

Было очень спокойно. Над лесом на другом берегу слышались вечерние голоса птиц. Они не пели. Они тихо проводжали воздух, уходящий туда, где должен был наступить новый день.

Пятых выглядел неумело и немного потерянно. Он спросил будто этим вопрос хотел извиниться за свою толстобость:

– Ну... а тебе то... всё-таки... Какое дело?

Ванчик посмотрел на него, удивившись, но как-то просто, вроде как сам потерявшись от такого неожиданного вопроса, его самого поставившего в тупик. Потом снова отвернувшись к озеру и без укора ответил:

– Да нет, никакого.

На несколько минут снова восстановилась предвечерняя тишина. От долгого дождливого дня уходили его последние тучи. Фиолетовый отблеск оттенял то место, куда должно было уйти светило, которое за этот день так и не соизволило появиться.

– Ну, давай тогда. Пошёл я. Не заворачивайся здесь.

Пятых встал и его тяжелые от долгого сидения шаги понемногу начали отдаляться по скрипящим доскам причала.

Ванчик сидел глядя на неподвижную гладь вечернего озе-

ра. Легкий ветер колыхал пушистые головки камыша. От зеленоватой прозрачной воды исходил приятный запах весенней свежести. Плавуны легко скользили по зеркалу воды. Кваканье, спокойная переключка птиц и редкие всплески рыб наполняли тишину объемом.

– Какое дело, – снова произнёс Ванчик.

Тяжелый камень звучно бултыхнулся в воду. Звон от падения прошелся по сухому переплету обожженной травы.

– Какое...

Ванчик не знал, почему вид разрушенного памятника и разбросанных тут и там камней гранита так поразил его сегодня. Он был огорчен. Да, пожалуй, именно это слово больше всего подходило к тому, что испытывал Ванчик – огорчен. Он не любил сломанных вещей и не любил беспорядка. Не любил, когда во вроде красивую вещь вносили дисгармонию. А памятник – это всегда красиво, это всегда что-то значит. А теперь его нет. Но теперь в душе Ванчика зарождалось что-то другое, чего он еще не понимал. Неловкий вопрос Пятыха, брошенный как этот толстый и неуклюжий камень, и который поначалу, казалось, не произвел на Ванчика никакого впечатления, вдруг тяжелым булыжником упал на безмятежное дно, подняв облако темного грязного ила.

– Какое дело?

*Алеша Сокол.*

*22.03.2020*